



Эпоха великих людей

Предисловие



та книга о попытке случайно соединившихся людей, для которых культура была в той или другой степени необходимой координатой жизни, выразить ей, культуре, за это благодарность. Или по-другому – о попытке читателей стихов передать свою признательность поэту за испытанные от чтения чувства, за пережитый душою подъем. О том, насколько удачно, полно или, напротив, нескладно, схематично это осуществилось. У меня был друг, прекрасный скрипач, он иногда звонил после концерта, я спрашивал: ну, как играли? Он отвечал: как умели, так играли. Вот об этом эта книга.

Ее название – неполная строчка из Первой элегии, открывающей цикл ахматовских «Северных элегий». В цикле шесть (седьмое стоит особняком) стихотворений. Их можно назвать историческими фрагментами большой истории – с той оговоркой, что в них биография человека, конкретно лирической героини, почти неотличимой от автора, не жертва катаклизмов социума и природы, но напротив, олицетворяет противостояние, пусть на вид и смиренное, их силам. Пружи-

ной событий и ведущей темой стихов выглядит она, биография, большая история превращается ею в сопутствующий антураж. «Северными» они названы не только традиционно, как, скажем, у поэтов, по-пушкински сознававших Россию северной страной, но и относительно знаменитых историй «полуденных»: эллинских и римских, античных. Элегическая повествовательная манера Ахматовой стилистически их напоминает. К ним примыкает несколько стихотворений, в частности написанный ближе к концу жизни сонет, имеющий прямое отношение к предмету этой книги.

*Запад клеветал и сам же верил,
М роскошно предавал Восток,
Тог мне воздух огонь скупю мерял,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный ветер пел в жемгужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душевной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме...
Вот когда железная Суоми
Молвила: «Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!»*

Суоми – финское название Финляндии, включая ту ее часть, которая после войны 1939 года отошла к СССР. Что поселок Комарово (прежнее на-

звание Келомякки), куда Ахматова с конца 1950-х выезжала на лето, расположен на этой земле, она никогда не забывала.

Подзаголовок Первой Северной элегии – «Предыстория»: картина Петербурга и, шире, России 1880-х годов, сквозь которые проглядывает десятилетие 1870-х. Заключительное четверостишие стихотворения – «Так вот когда мы вздумали родиться / И, безошибочно отмерив время, / Чтоб ничего не пропустить из зрелищ / Невиданных, простились с небытьем». Ахматова родилась в 1889-м, упомянутые ею зрелища – Русско-японской войны, Первой мировой, Русской революции, войны Гражданской, десятилетий большевистского террора, ГУЛАГа, Второй мировой. Поистине невиданные. В этой исторической перспективе она и опознавала, осознавала себя. Участницей; жертвой; уцелевшей чудом избранницей; победительницей. Той, на которую «Запад клеветал», не вымышленный, газетно-пропагандистский, а эмигрантский, толком не знавший, что с ней происходит, которому она не могла ответить. Частным лицом. Исторической фигурой.

Но независимо от масштаба судьбы и калибра личности, все родившиеся на свет причастны быту и по-домашнему отмечаются в нем. Как, к примеру, растущие дети карандашной чертой на дверной притолоке. Или справляя раз в год именины, отмечая день рождения. При жизни Ахматовой я был гостем, наверно, на четырех днях ее рождения. Есть показания, что на пяти,

но убедительных доказательств присутствия на пятом привести не могу. Смутно мерещится, что в первый раз позвонил с поздравлением в самый день и она пригласила в ответ, но после этого приглашала загодя.

Об этом, как и многом другом, касающемся и характеризующем ее, написано в моей книге «Рассказы о Анне Ахматовой». Она была издана в конце 1980-х, с тех пор много раз переиздавалась. Когда я сажусь за какую-нибудь новую статью или эссе об Ахматовой, бывает, что та или другая фраза из «Рассказов» представляется мне достаточно толковой, чтобы перенести ее в новый текст как есть, не смущаясь тем, что она уже напечатана. Несколько таких коротеньких обрывков, вспомненных по теме и показавшихся мне удачными, я включил и в эту книгу.

День рождения растягивался на 23 и 24 июня. Она родилась 11-го по старому стилю, но в веке прошедшем, девятнадцатом, так что можно было прибавлять 12 дней, однако поскольку уже праздновала этот день и в новом, то допускалось автоматически и 13. К тому же числа старого стиля имели склонность устраивать и охотно устраивали путаницу с числами нового. 23-е по старому, праздник Владимирской иконы Божией Матери, установленный в память избавления Руси от нашествия ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, также отбрасывал свет на ее день рождения. Она находила повод в какую-то минуту застолья мимоходом напомнить об этом.

Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим ее образу и имени добавочную красочность, не лишнюю, но ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих заявлений и намеков благодушно-иронической литературностью, что ею как бы вследствие самой даты рождения была усвоена магия, приписываемая этой ночи. То есть вся совокупность языческих верований и обрядов, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью – кладов, прыганье через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купание и т. д., – так же как и весь связанный с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, круг мифов, завершающийся шекспировским «Сном в летнюю ночь».

В стихах ее этот день упоминается не как праздник чудотворной иконы, или мученицы Агриппины, а как день Аграфены-купальщицы, канун Ивановой ночи. Притом опять-таки рядом с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде. Это усвоение, как стало принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, сближаемое с церковным верованием, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось про-

никновением или намерением проникнуть в области действий тех таинственных сил, проявление которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь». Эти полторы строчки из Второй элегии не поэтическая фигура – воспоминание ее близкой приятельницы В.С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!»)» не единственно. Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем», «плавала, как щука», по оценке брата-моряка. И еще, ссылаясь на поэму «У самого моря» – «знали соседи – я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место». Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и, наконец, китежанка. Из лунатизма – сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, черно-книжных произведений Ахматовой.

Разумеется, не следует думать, что в реальность или атмосферу празднуемых ее дней рождения проникали подобные сведения и соображения. Если они приходили в голову, то *до* или *после*. Но во время беседы, предшествующей усаживанию за стол и самому застолью, как правило, малолюдному, непышному, негромкому, они подспудно усиливали впечатление необычности, даже некоей нездешности того существа, той старой женщины, той дамы, в сторону которой тянулась твоя рюмка

с напитком и твоей язык выговаривал: «За вас, Анна Андреевна».

С кем вместе я оказывался в том или другом году, сейчас помню определенно только два этих дня. В 1964-м с писателями Метгером и Кроном (если, гм-гм, не Штоком – вот тебе и *определено!*) с женами, в Ленинграде, в квартире на Ленина. И в 1962-м – мы с Бродским приехали в Комарово, никого, кроме нас, не было. Ахматова записала в дневнике (прочел после смерти в опубликованном томе «Записных книжек»): «День рождения. Устала. Был Кома <В. В. Иванов> и <В. М.> Жирм<унский>. Вечером мальчишки. Стихи Бродского – не альбомные». Мы опаздывали, приехали только к концу дня. Весь путь в электричке Иосиф писал стихотворение «А. А. А.» («Закричат и захлопочут петухи»). Я вез букет цветов, мог не беспокоиться. Строчку из стихотворения Иосифа, которую Ахматова выбрала на эпиграф к своей «Последней розе» – «Вы напишете о нас наискосок», – я всегда воспринимал, что напишете и «наспех» тоже. Строчки из его «Исаака и Авраама» о звуке ААА мы все тогда читали как имеющие в виду Ахматову. Две из них она переписала в дневник, чуть тронув и назвав их «Имя»: «По существу же, – это страшный крик, / младенческий, прискорбный и смертельный».

Признаться, в то время – а сейчас подавно – я предпочитал этим выписанным ею другие, отсюда же: «Но если сдвоить, строить – ААА, / собрать бы воедино эти звуки, / которые нельзя сложить

в слова...». Уже и в те дни, помимо слов и всего, что можно было выразить словами, было некое общее звучание. Рассыпавшееся на звуки, чистые, пленительные. Сами по себе. В них была подлинность, высшая любых мыслей о ней. Мы жили своей жизнью, но частью ее была Ахматова, и эти звуки сделали для нас те несколько лет, рискну сказать, чудесными – в самом непосредственном, как и в расхожем смысле этого слова. «Были... мальчики». Сейчас читается – как в «Живаго» «мальчишки стреляют». «Вечером...» Но в середине лета, так что было еще светло.

Утром 5 марта 1966 года Ахматова умерла. В санатории, в Домодедове. 9-го ее тело было перенесено самолетом в Ленинград. 10-го похоронено в Комарове. И пошли годы. А точнее, века, как приговаривал после чьей-нибудь смерти один из самых близких мне людей. После кончины день памяти об умершем начинает энергично и заметно смещаться от даты рождения к дате смерти и вскоре переносится на нее. День рождения растворяется между воспоминаний об исчезнувшей жизни и теряется в них. Но образ ушедшего еще довольно отчетлив в сознании знавших его, смешивается с поглощающим его временем, влияет на старание времени разместить его в новом – посмертном – пейзаже. Пространстве. Координатах. Схоже с той минутой, когда я вошел в одиночную палату, где АА лежала на постели, укрытая простыней с головой. За несколько секунд до этого, не

зная о случившемся, я открыл дверь санатория – накануне мы с ней условились закончить правку черновой рукописи, – и ожидавшая меня в вестибюле врач стала объяснять что-то, что я понимал как слова, но не мог соединить их с реальностью. Я сдвинул простыню с лица, поцеловал лоб, он был еще теплый, она умерла меньше часа назад. Это тепло, уже слабое, одновременно и поставило психику на место (дав неоспариваемый сигнал: она мертва), и окутало мозг ощущением неоконченности происшедшего.

Так, в исподволь стирающихся следах ее недавнего присутствия и все более наглядных доказательствах невозвратимости, прошли несколько первых лет. Ежегодно 5 марта в какой-нибудь, а до меня доходило, что и не в одной, церкви служилась по ней панихида. По прошествии нескольких лет ее имя, произносимое на этих службах, стало открывать коротенький список: к приснопоминаемой Анне присоединился Николай (Гумилев), потом Николай другой (Пунин, ее последний муж), потом Лев (Гумилев, сын). Так она этот день освоила, в нем обосновалась.

Однажды осенью 2005–го в Комарово приехал Александр Жуков. Геофизик, ученый с именем, глава аналитической компании, занимающейся определением состава предполагаемых месторождений полезных ископаемых. Сочинявший, как нередко свойственно людям этой профессии, которые проводят изрядное время наедине с природой, песни бардовского направления. В Кома-



Александр Жуков с бригадой плотников возле Будки

рове он хотел положить цветы на могилу Ахматовой и взглянуть на предоставлявшуюся Литфондом в аренду дачку, в которой она в последние годы проводила по несколько месяцев. Как правило, въезжала в конце весны и возвращалась в город в начале осени. Называла этот небольшой стандартный деревянный финский домик Будкой и говорила, что безымянный архитектор проявил немалую изобретательность, разместив на какой-никакой площади *одну* жилую комнату, все остальные квадратные метры отдав коридорам, неожиданным переходам, верандам, крылечкам.

Подойдя к этому убогому строительному изыску, который к тому времени, кстати сказать, как-то сумели поделить аж две писательские пары, Жуков увидел, что Будка нуждается в немедленном ремонте. Фундамент просел, стены подгнили и покосились, нижние ступени ушли в землю. Он мгновенно сориентировался, нашел бригаду плотников, за приличные деньги нанял.

Мы с ним были незнакомы, но в конце лета он разыскал мой телефон и спросил, не соглашусь ли я съездить на место – посмотреть, насколько оно соответствует тому, что было при жизни Ахматовой (главным образом – обоям, которых при ремонте вылезло по углам несколько слоев.) Оно соответствовало настолько, что если бы поставить в ту самую единственную комнату у окна ломберный столик XIX века, если не тот самый, за которым она писала и читала, то похожий; с фарфоровой чернильницей пушкинского времени; к нему